

## ОБ АВТОГРАФАХ СТИХОТВОРЕНИЯ «ДВА ЧУВСТВА ДИВНО БЛИЗКИ НАМ...»

Эти два болдинских автографа Пушкина, относящиеся к середине октября 1830 г., написаны, как и все рукописи знаменитой болдинской осени 1830 г., на отдельных листах; первый — на фабричном полулисте почтовой бумаги, второй — на четверке фабричного листа. Обе эти рукописи были впервые напечатаны еще в 1903 г. И. А. Шляпкиным<sup>1</sup> и хранятся в Пушкинском Доме — ПД 136 и ПД 137.

На обоих листах — стихотворение Пушкина «Два чувства дивно близки нам...». Первая рукопись представляет собой черновой автограф, вторая — белой, переходящий в черновой. Мы привыкли воспринимать это пушкинское стихотворение как незавершенный набросок — между тем, судя по автографам, подобное восприятие обманчиво.

Автограф ПД 136 открывается планом некоего сочинения. В большом академическом издании 1937—1949 гг. он отнесен к «<Опровержению на критики>»; в позднейших академических подборках — к нереализованным «Запискам».<sup>2</sup> Во всех изданиях этот план воспроизведен неверно. Вот в каком виде напечатан этот план в Большом Академическом издании:

«Древние, нынешние обряды. Кто б я ни был, не отрекусь, хотя я беден и ничтожен. Рача, Гаврила Пушкин. Пушкины при царях, при Романовых. Казненный Пушкин. При Екатерине II. Гонимы. Гоним и я» (XI, 388).

Обращение к автографу дает иное чтение:

«Древние, нынешние обряды — [где] кто б я ни был<sup>3</sup> не отрекусь хотя я<sup>4</sup> беден, и ничтожен — Рача, Гаврила Пушки<н> Гани<бал><sup>5</sup> Пушкины при царях при Романо<вых> Казненный Пушкин при Екатерине Гани<бал> II и я».

В этом «плане» упомянуты предки Пушкина, причем именно те, которые стали персонажами стихотворения «Моя родословная» (в автографе оно помечено 16 октября 1830 г.). И в том же порядке. Рача (Радша) — родоначальник Пушкиных (поэт ошибочно

<sup>1</sup> Шляпкин И. А. Из неизданных бумаг А. С. Пушкина. СПб., 1903. С. 20—21, 54. Факсимильное воспроизведение: Пушкин А. С. Болдинские рукописи 1830 года. СПб., 2009. Т. 3. С. 59, 61.

<sup>2</sup> См. комментарии Я. Л. Левкович: Пушкин А. С. Дневники. Записки. Л., 1985. С. 269—270.

<sup>3</sup> Слова: «[где] кто б я ни был» вписаны.

<sup>4</sup> Слово: «я» вписано.

<sup>5</sup> Слова: «Гаврила Пушки<н> Гани<бал>» вписаны.

считал его «пруским выходцем» и современником Александра Невского) — фигурирует в ст. 25–26. Пункт «Пушкины при царях» соответствует ст. 29–30 («Водились Пушкины с царями; Из них был славен не один» (III, 262). В ст. 33–38 речь идет о Пушкиных «при Романо<вых>». «Казненный Пушкин» — это Федор Матвеевич Пушкин, приговоренный к смертной казни в 1697 г. за участие в стрелецком бунте, ему посвящены ст. 41–46. Пушкин «при Екатерине» — дед поэта Лев Александрович, который появляется в следующей строфе (ст. 49–55). В «Post scriptum»<sup>6</sup> к «Моей родословной» появляются названные в плане предки по материнской линии: «Ганибал» — известный «арап Петра Великого» (ст. 66–76) и «Ганибал II» — его сын Иван Абрамович, герой Наваринской битвы (ст. 77–80). Не попал в «Мою родословную» только Гаврила Григорьевич Пушкин, думный дворянин эпохи Смутного времени, который в приукрашенном виде «мятежника» был уже выведен в «Борисе Годунове». Но показательно, что его имя вместе с именем Ганнибала вписано на правом поле листа таким образом, что место этой вставки точно не определяется.

Интересно, что расхождения в тексте большого академического издания с автографом образовались явно по «неакадемическим» причинам: при первой публикации (в составе известного описания пушкинских рукописей Л. Б. Модзалевского и Б. В. Томашевского) этот план был изначально и совершенно верно описан как «Программа “Моей родословной”» и прочитан гораздо точнее.<sup>6</sup> Редакторам 11-го тома, в духе создававшегося тогда пушкинского «мифа», понадобилось в 1949 г. усилить тему «гонимого» Пушкина, — что они и сделали.

То, что перед нами план именно *стихотворного* произведения, видно уже по характеру правки одного из фрагментов автографа: после слова «хотя» вставляется местоимение «я» — и в результате складывается строка четырехстопного ямба:

Хотя я беден и ничтожен

Эта строка служит в плане переходом к рассказу о собственной дворянской *родословной*, которая подана нарочито остро. Пушкин, восстанавливая в художественной форме исторические события, вообще предпочитал представлять их в наиболее остром варианте.

При этом все должно было начинаться с разговора о «древних» и новых «обрядах», продолжаться заявлением о «неотречении», переходить в мотив аристократической «бедности» и завершаться

---

<sup>6</sup> Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском Доме: Научное описание / Сост. Л. Б. Модзалевский, Б. В. Томашевский. М.; Л., 1937. С. 57–58.

панорамой собственных знаменитых предков, представленных избирательно, наиболее интересными для автора историческими персонажами. Но те литературные ощущения «аристократа» и «мещанина во дворянстве», о которых повествуется в начале «Моей родословной» («Смеясь жестоко над собратом...»), никак не назовешь «обрядами».

«Не отрекусь» — от чего? Да именно от своего «родословия»: далее следует перечисление прославленных в истории предков, завершающееся указанием на самого «действителя» — «и я».

После этого, отчеркнув план, Пушкин начинает работу над стихотворным текстом, который, по всей видимости, должен был стать началом «Моей родословной» и лишь позже был осмыслен Пушкиным как самостоятельный поэтический набросок. Он не только «конденсирует тот психологический комплекс, из которого вырастают многие лирические произведения Пушкина рубежа 1830-х годов»,<sup>7</sup> но и отражает некий «общечеловеческий» замысел политического памфлета.

Первый стих посвящен как раз тем «двум чувствам», которые создают вечные «обряды». Он не сразу сформировался в окончательном виде: «Два чувства Богом нам даны», «Священные два чувства нам», «В двух чувствах данных Богом нам»... Затем, после ряда вариантов, первая строфа уже в черновом автографе получает следующий вид (привожу последний слой):

Два чувства дивно близки нам  
В них обретает сердце пищу  
Любовь к отеческим гробам  
Любовь к родному пепелищу.

(III, 847)

Во второй строфе тоже происходят пробы вариантов: «Они священы человеку», «Они священы в нас от века»... В конце концов Пушкин формирует и ее (привожу последний слой):

На них основано от века  
По воле Бога самого  
Самостоянье человека  
И всё величие его.

(III, 847–848)

Затем Пушкин уверенно продолжает третью строфу:

На них основано семейство  
И ты, к Отечеству любовь!..

(III, 848)

---

<sup>7</sup> Сидяков Л. С. Болдинская лирика как этап в эволюции пушкинской лирики на рубеже 1830-х годов // Болдинские чтения [1977]. Горький, 1978. С. 11.

И — тут же зачеркивает: патриотическая тема «вторгается» в «обряды» не очень логично и не вполне соответствует поэтическому заданию.

Третью строфу Пушкин продолжил, кажется, не сразу: она начата на свободном месте листа, в другом его положении:

Земля была б без них пустыня  
[и без бытия]  
[Отечество]                      святыня  
[И]                                      [семья]

(Там же)

В конечном итоге «Моя родословная» оказалась у Пушкина таким «полемическим» документом и рассматривалась им как очередная «опыт отражения некоторых нелитературных обвинений». Воспринятая как «косвенная сатира на происхождение некоторых фамилий» (XIV, 241–242), она оказывалась интересна прежде всего своим «политическим» подтекстом — противопоставлением «старинного» русского дворянства той «новой знати», которая и составила всесильную придворную бюрократию, управляющую Россией. Подобное памфлетное семантическое «многоцветие» видим только в окончательной редакции стихотворения. «Начало», зафиксированное на листе ПД 136, явно «выбивалось» из подобного содержания и не было использовано.

Через некоторое время — когда стало понятно, что начатый набросок «не ложится» в структуру «Моей родословной», Пушкин перебелил написанное на другом листе (ПД 137), восприняв его как вполне законченное и цельное афористическое стихотворное высказывание:

Два чувства дивно близки нам,  
В них обретает сердце пищу:  
Любовь к родному пепелищу,  
Любовь к отеческим гробам.  
На них основано от века  
По воле Бога самого  
Самостоянье человека,  
Залог величия его.

На листе ПД 137 это стихотворение явно перебелено: Пушкин уверенно, без какой-либо правки, переписал его — в качестве *завершенного* текста, «отпочковавшегося» от «Моей родословной» и решавшего иные задачи. Эта «завершенность» подчеркнута конечным рисунком геральдического «орла»: подобные графические «завершения» в рукописях Пушкина были знаком «удовлетворительной концовки».<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Фомичев С. А. Графика Пушкина. СПб., 1993. С. 93.

Но через какое-то время (возможно, уже по возвращении из Болдина) поэт вновь вернулся к этому тексту. И — другими чернилами и другим пером — *целиком вычеркнул второе четверостишие*. И тем же пером начал прорабатывать дальнейшее, вернувшись к набросанной третьей строфе чернового автографа: «Земля без них одна пустыня», «Без них нам тесный мир пустыня» и т. д. Наконец, получилось следующее чтение:

Животворящая святыня! —  
Земля была без них мертва  
Как < > пустыня  
И как Алтарь без Божества.

(III, 849)

Заметим, что подобное прочтение (которое Т. Г. Цявловская представила в качестве основного текста второй строфы — см.: III, 242) — далеко не единственное: Пушкин дал два незачеркнутых варианта (следом за зачеркнутым текстом — и на полях!), предоставив пушкинистам возможность в данном случае «досочинить» что угодно. Ибо позднее он к этому наброску больше не обращался. Образец такого «досочинения» представил, например, Л. М. Аринштейн, предложивший в третьем стихе этого четверостишия редакторскую конъектуру: «Как <без оазиса> пустыня».<sup>9</sup> Но подобная конъектура только еще более запутывает проблему.

Творческая история наброска Пушкина о «двух чувствах» — если его рассматривать имманентно — представляется несколько загадочной. В самом деле: почему Пушкин вычеркнул самое сильное место и самую важную мысль — о «самостоянье человека»? И почему, несмотря на это, «два чувства» воспринимаются в качестве «животворящей святыни»? И что это, в конце концов, за два «дивно близких нам» чувства?

«Любовь к родному пепелищу». «Пепелище» — это очаг, дом, жилище, вовсе не обязательно сгоревшее или уничтоженное:

Когда же с мирною семьей  
Черкес в отеческом жилище  
Сидит ненастною порой,  
И тлеют угли в пепелище...

(IV, 101)

Для Пушкина в данном случае важно указание на «пепелище» как на *родовой* очаг, вокруг которого объединяется семья.

---

<sup>9</sup> Аринштейн Л. М. Незавершенные стихотворения Пушкина: (Текстологические проблемы) // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1989. Т. 13. С. 295–298.

Другой поэтический обряд, связанный с почитанием «родного пепелища», был описан еще К. Н. Батюшковым в послании «Мои Пенаты» (1812):

Отчески Пенаты,  
О пестуны мои!  
Вы златом не богаты,  
Но любите свои  
Норы и темны кельи,  
Где вас на новосельи  
Смирненно здесь и там  
Расставил по углам...<sup>10</sup>

Строки Батюшкова написаны в родовой усадьбе, принадлежавшей покойной матери. Пушкинские стихи написаны в Болдине — покинутой усадьбе деда, полной самыми причудливыми мифами вроде апокрифических легенд про «дедушку», Льва Александровича, якобы хранившего верность Петру III во время переворота 1762 г. (за что был посажен в крепость) и повесившего на усадебных воротах «француза-учителя».<sup>11</sup> Оказавшись возле этих самых «ворот» (XIV, 114), в старом болдинском доме, где обитало несколько поколений «бояр старинных», поэт особенно остро ощущал связь времен.

Понятно, почему эти мотивы возникли в сознании Пушкина именно «болдинской осенью» 1830 г. До этого времени поэт не особенно интересовался своим родословием с отцовской стороны, предпочитая позиционировать себя в качестве правнука «царского арапа» Ибрагима Ганнибалы, мечтающего «о дальней Африке своей». В начале августа 1830 г. Фаддей Булгарин в напечатанном в «Северной пчеле» «Втором письме из Карлова на Каменный остров» опорочил этот «миф», заявив, что предок поэта был куплен неким «шкипером» «за бутылку рому».<sup>12</sup> В это время сам Пушкин находился в Москве у умиравшего дяди Василия Львовича (он скончался 20 августа) и знакомился с генеалогическими документами по отцовской линии (хранившимися у дяди как у старшего в семье), а заодно и с устными преданиями этого рода (в том числе и с выдумками про своего деда).<sup>13</sup>

Так что у поэта к этому времени сформировалось (даже биографически) не просто осознание *Дома* — но облик неповторимого «пепелища», знакового по своему «родовому» ареалу.

<sup>10</sup> Батюшков К. Н. Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 207.

<sup>11</sup> Об апокрифичности этих преданий см.: Овчинников Р. В. По страницам исторической прозы А. С. Пушкина. М., 2002. С. 41–90.

<sup>12</sup> См.: Пушкин в прижизненной критике: 1828—1830. СПб., 2001. С. 280.

<sup>13</sup> См.: Старк В. П. Пушкин и семейные предания его рода // Легенды и мифы о Пушкине: Сб. статей. СПб., 1995. С. 72—73.

«Любовь к отеческим гробам». Здесь имеются в виду не собственно «отцы» — но все представители «рода»: в одном из ранних вариантов было «И к мертвым прадедам любовь». С этим чувством связан обряд поминаения усопших, столь значимый и частый в православном богослужении.

Поэтическая мысль Пушкина в данном случае предельно проста: два чувства определяют человеческое *самостоянье* — то есть его неповторимость и значимость посреди множества ему подобных существ окружающего мира. Ю. М. Лотман заметил: «Слово *самостоянье*, созданное Пушкиным, замечательно выражает понятие гордости, чувства уважения к себе, соединения культуры с ценностью родного дома».<sup>14</sup>

Между тем, оказавшись в составе стихотворных «вариантов», это слово, единственный раз употребленное поэтом, не попало даже в основной состав «Словаря языка Пушкина».<sup>15</sup>

Из сказанного вытекает важный текстологический вывод.

Тот текст интересующего нас пушкинского стихотворения, который — в качестве основного — представлен в большом академическом издании, *не может считаться удовлетворительным*. В нем оказались некритически соединены результаты *двух этапов* работы над произведением. В этом тексте первое, вполне отделанное, четверостишие («Два чувства дивно близки нам...» и т. д.) оказалось объединено со вторым («Животворящая святыня...»), отражающим последующую, не очень удачную и к тому же явно не завершенную, попытку «доделки» стихотворения.

То четверостишие, которое поначалу присутствовало в пушкинском беловике как заключительное («На них основано от века...»), оказалось при подобном прочтении в разделе других редакций и вариантов — на том основании, что позднее Пушкин его зачеркнул. В целом же стихотворение рассматривается как «черновой набросок» — на это прямо указывает примечание в малом академическом издании.<sup>16</sup>

Неправомерность такого текстологического решения как будто давно ощущается некоторыми серьезными пушкинистами. Так, Л. С. Сидяков в работе, посвященной болдинской лирике, привел это стихотворение, в нарушение всех текстологических правил (о чем специально поведал в примечании), в составе *трех*

<sup>14</sup> Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. СПб., 1996. С. 807.

<sup>15</sup> Слово «самостоянье» включено в раздел «Дополнения к словарю» лишь во 2-м, дополненном издании — см.: Словарь языка Пушкина. 2-е изд., доп. М., 2000. Т. 4. С. 1081.

<sup>16</sup> Акад. в 10 т. (2). Т. 3. С. 515 (примеч. Б. В. Томашевского).

четверостиший.<sup>17</sup> И стихотворение оказалось вполне соответствующим его характеристике как произведения, которое «конденсирует <...> психологический комплекс»<sup>18</sup> пушкинской лирики рубежа 1830-х гг. Подобное заявление не очень сочетается с определением «черновой набросок».

Стихотворение «Два чувства дивно близки нам...», по существу, не может считаться *черновым наброском*, поскольку имеет беловой автограф. Оно, как мы помним, «отпочковалось» от первоначально (не памфлетного) замысла «Моей родословной» — и приобрело тот вид, который самому автору представлялся вполне завершенным. Переписав стихотворение набело (от: «Два чувства дивно близки нам...» — до: «Залог величия его»), Пушкин тем самым обозначил цельность и завершенность поэтического высказывания. И на определенном этапе оно существовало в его сознании в этом самом, вполне «беловом», виде.

И если позднее Пушкин почему-то решил «развить» привлекательные для него «конденсирующие» идеи этого стихотворения и начал (но не завершил!) работу над его продолжением, то это вовсе не отменяет того этапа, когда произведение ощущалось как законченное. Причины, по которым Пушкин возобновил работу, не очень понятны. Важно, что эта операция проделана с уже «готовым», перебеленным текстом.

С. А. Фомичев заметил по этому поводу: «Могут сказать, что Пушкина этот текст не вполне удовлетворял, иначе бы он не принялся его исправлять. Но, во-первых, и о напечатанных своих произведениях он порой высказывался довольно критично, а во-вторых, невозможно доказать, что редакторское дополнение ему бы понравилось больше, нежели собственный текст, хотя бы и черновой».<sup>19</sup>

Поэтому логичнее именно болдинский беловой автограф принять как *основной текст*, а в «варианты» перенести именно последнее, незавершенное четверостишие («Животворящая святыня...» и т. д.).

В. А. Кошелев

---

<sup>17</sup> Сидяков Л. С. Болдинская лирика как этап в эволюции пушкинской лирики на рубеже 1830-х годов. С. 11.

<sup>18</sup> Там же.

<sup>19</sup> Фомичев С. А. Незавершенные произведения Пушкина как издательская проблема // Незавершенные произведения Пушкина: Материалы науч. конференции. М., 1993. С. 103.